

71

543

26-27.

21 июля 1922.

Адрес конторы и редакции:
„VOLJA ROSSII“
Uhelný trh 1, Prague,
Tchécoslovaquie.

Адрес для телеграмм:
Volross, Prague.
Телефон 98-02.

Гос.
Публичная
Библиотека
в

ВОЛЯ РОССИИ



ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК

Под редакцией Вл. Лебедева, М. Слонима и В. Сухомлина.
Издатель Е. Лазарев.

ЦЕНА ОТДЕЛЬН. №№
В ЧЕХОСЛОВАКИИ

6 ЧЕШ. КРОН

в Финляндии — 4 м., Югославии — 6 динар., Румынии, Болгарии — 12 лев. Во Франции, Турции, Бельгии — 1*50 фр., в Швейцарии — 1 фр., в Германии, Польше, Эстонии, Латвии, Литве — 16 гер. м., Италии — 3 лиры. Скандинавских странах — 1 кр. Англии — 1 шил. в Америке — 25 сент.

Страница объявлений - 1400 чеш. крон. Строка петита - 52 м. - 5 чеш. крон. При повторении скидка.

71
543
1922
2

кие дни революций, а парламент господствует, пожалуй, только в Южной Америке (?) или Балканах (?). Повсюду на свете господствуют личности, и вопрос заключается лишь в том, принадлежат ли они к малочисленной наследственной, не особенно понимающей в практических делах касте и назначаются ли по предложению тайных кабинетов или же избираются из совокупности народа". Этот скептицизм смягчается у Ратенау лишь последующим замечанием, что дело идет собственно о том, должны ли мы предпочесть кастовое государство, или народное. Сам вопрошающий высказывается за государство народное...

Так рисуется нам с разных сторон сложная, не сведшая и сама для себя концов, но очень любопытная личность Ратенау, этого великого мастера "механизации" и противника ее во имя "души", тонкого логика и отрицателя логики, восторженного поклонника Христа и героев не от мира сего и гениального предпринимателя, врага неограниченного капитализма и не меньшего врага рабочего социализма, демократа и в то же время скептика по отношению к широкому народоправству, проповедника "любви" и эпикурействующего миллиардера...

Н. С. Русанов.



Пути к великому.

(Новые материалы о Достоевском.)

В № 21 "Воли России" автор настоящей статьи отметил в предисловии к тексту плана "Жития великого грешника" ценность новых материалов творчества и жизни Достоевского, напечатанных в "Документах по истории литературы и общественности" (Москва, 1922). В этой книге, кроме плана "Жития", помещены также две главы из романа "Бесы", не появившиеся в печати — надо думать по цензурным условиям — раньше в полном виде. Главы эти посвящены рассказу о посещении Ставрогиним жившего "на спокое" в монастыре архиерея Тихона, которому дает прочесть свое признание в совершенном им преступлении. Подобно плану "Жития", главы эти бросают яркий свет на загадочную фигуру Ставрогина и служат в то же время ключом к раскрытию одной из тайн творчества Достоевского — его духовной связи с его героями. Несмотря на то, что приводимый в упомянутых "Документах" текст не является окончательной редакцией, рассказ поражает художественной экспрессией и глубиной, и для правильного понимания "Бесов" он положительно необходим. Ниже печатаемая статья имеет целью установить общие линии внутренней связи между героями "Бесов" и "Жития" и отметить некоторые черты, роднящие их с Достоевским.

Никто так бесстрашно не подходил к краю бездны и не заглядывал в нее с такой жгучей напряженностью, как Достоевский. Никто не ставил вопросов о жизни и смерти, о Боге и безбожии так остро и резко и никто до него и после него не был столь нерешителен и столь неопределенен в своих ответах. Спрашивал один человек, отвечать должен был кто-то иной — свыше от неба, или снизу — из бездны. И оба голоса отвечали Достоевскому то попеременно, то сразу.

— Верите-ли вы в Бога? спрашивает Ставрогин Шатова и слышит в ответ даже от этого религиозно настроенного человека смущенное: "я... буду верить".

Естественно, что этот ответ не удовлетворяет Ставрогина. Ему нужна определенность и ясность. Ведь он спрашивает не из любопытства и не из издевательства — он спрашивает затем, чтобы хотя на время снять с себя самого тяжесть решения этого вопроса. Он занят им больше всего, но смертельно боится решать его сам и предпочитает занять свой ум и душу всем, кроме вопроса о Боге, и самый вопрос из ясности сознания,

не думать о нем, забыть, отделаться навсегда. Но усилие его тщетно и только утомляет волю: стараясь не думать о Боге, он только глубже и глубже загоняет мысль о Нем в область бессознательного и насыщает ее этой мыслью настолько, что бывает не в силах поддерживать равновесие духа. Ясные, острые, мысли по временам как бы утрачивают связь с нормальным движением его разума и падают в темные пропасти души, освещая призраки, пугающие его воображение. По временам его рассудок, пронизательный и отчетливый, туманится, словно закрывается клубами дыма, где сверкают искры недоброго подземного огня. Нужна громадная сила, чтобы справиться с этой подпочвенной подсознательной лавой и не дать ей окончательно прорваться и овладеть и волей и мыслью, не погрузить душу в безумие и хаос.

Вся внутренняя жизнь Ставрогина проходит в этой борьбе на грани отточенной мысли, незнающей отдыха и мира, и загнанных, забытых вглубь смутных ощущений чего-то иного, что выше разума, что важнее и жизненнее разума. Больше всего Ставрогин боится искать слов для выражения этих ощущений, и он вооружает против них целые полчища логических аргументов, чтобы себе самому доказать, что то, что в нем происходит, происходит от того, чего в нем нет — по крайней мере во что он не верит. И запутывается в противоречиях и вопросах.

II.

Одному было не решить этих вопросов и не выйти победителем из борьбы. Как не залить тоски вином, а только пуще разжечь ее, так не задавить в душе порыва к небесному, так не оборвать луча, падающего от звезды на землю. Тем-то и велика мука Ставрогина, что он неустанно ищет, но боится того, что ищет, и потому и тянется и отворачивает лицо от того, к чему стремится. Пусть другие скажут, что они узрели Бога, а он, Ставрогин, об этом услышит, и решит поверить ли ему, или не верить. Лишь бы не самому, — ибо не выдержать ему ясности в Боге и не перестать быть тем,

чем он есть, — духоборцем во тьме. Что будет тогда, если бы это случилось, он не знает — безумие ли, блаженство ли, или еще пущая мука — онъ боится исхода.

Ему хочется заглянуть в чужую, более глубокую и более ясную душу: что там творится? Или и там происходит такая же страшная, такая же мучительная борьба?

И вот — Ставрогин у Тихона, старца великого духовного подвига и смирившейся праведной жизни. Его, Ставрогина, „разбудила тишина“ кельи, и после минуты неловкого и странного молчания Тихон — „вдруг поднял глаза и посмотрел на него таким твердым и полным мысли взглядом, а вместе с тем, с таким неожиданным и загадочным выражением, что он чуть не вздрогнул. И вот ему вдруг показалось, что Тихон уже знает, зачем он пришел...“ Начался молчаливый поединок двух душ, глубоко смотревших одна в другую. Тихону казалось, было известно, что происходило в смятенной и смутной душе Ставрогина, последний же только ощущал ясность души Тихона и уже злился и вставал против этой ясности, обаяние которой его покоряло. И когда Ставрогин на минуту смирился и забыл о борьбе и протесте, он стал неузнаваем, стал иной, каким не бывал почти никогда. „Странно, что оттенок будто нетерпения, рассеянности и как бы бреда, бывший на лице его все это утро, почти исчез, сменившись спокойствием и как бы какой-то искренностью, что придало ему вид почти достоинства“. Но это было лишь на минуту, вообще же он был неестественен, резок, неучтив и рассеян, словно был одержим видениями из другого мира, хотя и не забывал, зачем он пришел к Тихону.

„В Бога веруете? — брякнул вдруг Николай Всеволодович“

— Верую!

— Ведь сказано, если веруешь и прикажешь горе сдвинуться, то она сдвинется... впрочем извините меня за вздор. Однако я всетаки хочу полюбопытствовать: сдвините вы гору или нет?

— Бог повелит, и сдвину, — тихо и сдержанно произнес Тихон, начиная опять опускать глаза.

— Ну, это все равно, что сам Бог сдвинет. Нет, вы вы в награду за вашу веру в Бога?

— Может быть, и не сдвину.

— „Может быть“? Ну, и это не дурно. А впрочем все еще сомневаетесь?

— По несовершенству веры моей сомневаюсь.

— Как, и вы не совершенно веруете?

Да... может быть, верую и не в совершенство, — ответил Тихон.“

Даже Ставрогин удивляется простому и искреннему ответу Тихона. „Вот бы не предположил, на Вас глядя!“ — грубо восклицает он с неподдельным изумлением. Онь, Тихон, человек неустанной молитвы и праведной жизни, так ясно и просто сознается в несовершенстве своей веры. Нет, они не играют словами, оба они стоят на краю пропасти, для обоих вопрос веры — вопрос смысла и цели бытия. И оба подходят к одному и тому же, что объединяет и разделяет их: сомнению. Сомнение дает им взаимное понимание и общий язык устанавливающий их духовную связь помимо слов и логиче-

ских изъяснений — взаимным чутьем и взаимным испытанием. Только Ставрогин сгибается и падает под его тяжестью, а Тихон несет, словно крест на Голгофу, вызывая в себе веру и по черная в ней утешение и силы. Для Ставрогина сомневаться — значит разжигать себя, растравлять душу ядом логических противоречий и подпадать под власть темных призраков, грозящих безумием. Сомнение для Тихона — восхождение к степеням духовного подвига, преодоление самого себя в борьбе совершенствования. Ставрогин — одержимый, ищущий путей к освобождению, Тихон — если не освободившийся совсем, то знающий верный путь — в преодолении собственного „я“. Ставрогин духом нищ и убог, его злоба — от духовного голода, от сознания пустоты и пропасти, лежащей перед ним. Тихон — богат, умдренностью духовного опыта, которым он готов смиренно и застенчиво поделиться со Ставрогиным, или дать почувствовать ему, насколько надежен и верен тот путь, на котором он, Тихон, обретает свою веру. Но Ставрогин слишком одержим темными силами своей же природы, чтобы последовать за Тихоном без отговорок и сразу. Ему надо прежде испытать себя до конца, проявить на ясности Тихона мятежные тени своей души. „А можно-ли верить в беса, не веруя в Бога? — засмеялся Ставрогин. — О, очень можно, сплошь и рядом, — поднял глаза Тихон и улыбнулся“. Ставрогин смеется, Тихон улыбается, но ни одному, ни другому не весело. Оба они бредут по краю пропасти, и призраки духовной смерти не отстает от них ни на шаг. И оба прекрасно понимают друг друга, при всем своем несходстве, понимают настолько, что иногда кажется, что одержимость одного и святость другого сливаются в нечто единое, ищущее Бога, любви и мира. И оба „едиными усты и единым сердцем“ воспринимают великое значение слов св. писания: „знаю твои дела, ни холоден, ни горяч, о, еслибы ты был холоден или горяч“... И далее: „ибо ты говоришь: я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды; а не знаешь, что ты жалок и беден, и нищ, и слеп, и наг“... И оба понимают, что глубокий смысл этих слов, угрожающих оставить за порогом духовной жизни и познания истины тех, кто ни холоден, ни горяч, обращен к каждому из них — только по разному, к одному меньше, к другому больше. Один ищет, но еще не нашел в вере той силы, которая может двигать горами, другой мучится жаждой искания, но боится сойти с путей логической целесообразности и вступить на стезю внутреннего опыта. Но у обоих и жажда и тяготение — одни и те же, сближающие и роднящие в одном ощущении. „Знаете, я вас очень люблю“, — говорит Ставрогин, обрывая Тихона на словах апостольского послания. — „И я вас,“ — отзывается вполголоса Тихон.

Ставрогин был „одержим“ не на шутку. Его посещали видения — „какое-то злобное существо, насмешливое и разумное“, „в разных лицах и в разных характерах, но одно и то же.“ Тихон допускает это; он сам знает людей, подтверженных таким же явлением. „Вижу, вижу так, как вас, — рассказывает Ставрогин, — а иногда не знаю, что правда: я или он“... „Бесы

существовать несомненно, — замечает Тихон — но понимание о них может быть весьма различно. Далее Ставрогин признается, что он, отрицаящий на словах, а на деле испытующий бытие Бога, „канонически“ верует в беса, в личного, не в аллгорию. И Тихон ничего не возражает и ничего не утверждает из рассуждений и открытий Ставрогина. Для него важно, что Ставрогин „верует“, хотя бы по временам: пусть теперь он верует в „беса“, потом, когда-нибудь покаившись, уверует в Бога. Для него в свою очередь ясно, что есть в мире особая сила, что проявляет себя в людях и через людей, и что заставит самого Тихона перед тем, как расстаться с Ставрогиным пережить видение и предсказать ему новое преступление, ожидающее „бедного, погибшего юношу“. Таким образом, и Тихон оказывается во власти той же таинственной, загадочной силы.

III.

Чувствуется, что Тихон постиг Ставрогина не одним чутьем великого прозорливца, но и чем-то иным — не то воспоминанием, не то существованием в прошлом незажившим страданием какого-то старого однородного греха. Кажется, будто Тихон видит в Ставрогине себя самого, сжигаемого душевной борьбой, страстями, падениями и исканиями Бога. Кажется, что Ставрогин — тяжелый бурный этап его прошлого, запечатленный страданиями и безысходной тоской. Ему надо помочь, ему надо протянуть якорь спасения, ему надо указать на единый высочайший источник любви и исцеления, почерпающий в горячей, пламенной вере живительную силу духовного обновления. Вера, единственная, чистая, святая вера в Бога может привести к его познанию, к утверждению в Нем и слиянию с Ним. Надо спасти погибающего, надо наставить заблудшего, надо отогнать бесовские искушения от сердца, способного к раскаянию и любви! . . .

И сколько раз повторял Тихон эти простые и прониковенные слова тем больным и униженным и страдающим людям, которые приходили к нему искать утешения и мира. И сколько раз горячие слезы покаяния и умиления были ответом на его тихие речи, и сколько людей уходило от него утешенными и облегченными! Великое дело любви и веры творилось в кроткой тишине его кельи, дело и согревавшее и освещавшее скорбную и темную жизнь за монастырской оградой . . .

И вот, словно наводнение беса явился к нему из таинственной мглы небывшего прошлого не Ставрогин, не бедный страстями опутанный юноша, не преступник, наслаждавшийся сладострастием палача, не заблудшая душа, жаждущая покаяться, но некий искушающий призрак, дух человека, сродный ему самому, и обратился к нему лицемерно и лукаво: „Исцели меня, великий целитель, исцели силою своей веры, если ты веруешь совершенно.“

Верую ли?, „Креста Твоего, Господи, да не постыжуся, — почти прошептал Тихон, каким-то страстным шепотом и склоняя еще более голову.“

Молитва подкрепляет Тихона, но не унимает беса, который шепчет: если ты веруешь несовершенно, то как можешь ты, великий целитель, исцелить меня? Вспомни слова о судьбе тех, кто холоден и не горяч. Помнишь: „Поелику ты тепл, а не горяч и не холоден, то излюблю тебя из уст моих!“ . . . И ты такой же, как я, жалкий и нищий слепец!

IV.

Такой же? О, нет, не такой! Тихон, каким Достоевский создал его в „Бесах“, — не последняя ступень духовного совершенства. Ему еще предстоит тяжелая внутренняя работа над собой, пока последние тени сомнения не уйдут из его души. Он уже прошел этапы мучительной борьбы с „разумным и наשמившим существом“ искушения, теперь остался этап последний, бесстрастный, — преодоление „несовершенства“ своей веры напряженным размышлением и молитвой. Тогда, за этим этапом, превратится он в того подлинного „старца“ Тихона, которого Достоевский собирался изобразить в последнем из своих романов — „Житие великого грешника“. Нет никакого сомнения, что старец „жития“ тот же „архирей на покое“, какой был изображен им в „Бесах“. Это дальнейшее развитие того же типа: старец „жития“ должен был явиться, по заявлению самого Достоевского, „величавой, положительной, святой фигурой“, напоминающей Тихона Задонского. „Старец“, по плану задуманного романа, должен был сближаться с тринадцатилетним мальчиком, отданным родителями в монастырь для исправления. Мальчик испорчен и развращен с детства, уже участвовал в уголовном преступлении, „волчок и нигилист“, — он будущий герой романа. Многие роднит этого героя со Ставрогиным, и прежде всего — сознание совершенного преступления или, вернее, сознание носимой в себе преступности и стремление стать выше всех. „Нелюди и несообщители, да и не может быть иначе, помня и зная за собой такой ужас... Не одно это уединяет его от всех, а именно — мечты о власти и непомерной высоте надо всем“. Он странен и жесток, причает себя к боли и душевной черствости. По отношению к людям — гадлив и презрителен; собственное „я“ — выше всего. Полоса неверия в Бога, но в то же время — „согласен с Евангелием“. Ранняя чувственность принимает странные формы: приближает к себе „хромешную“, издевается над ней, бьет, подвергает нравственной пытке. Напомним, что и в сцене свидания Ставрогина с Тихоном рассказ о повесившейся девочке занимает центральное место, достойное, по глубине замысла, самостоятельного анализа. Ставрогин дает прочесть Тихону свою исповедь о том, как он подвергал нравственной пытке несчастного ребенка до тех пор, пока не довел его до самоубийства, и сознание этого преступления так велико у Ставрогина, что даже он не выдерживает и хочет покаяться в нем. Странности подобного рода и другие черты, образующие характер героя „жития“, родяют его со Ставрогиным. И это — один и тот же психологический тип, развившийся в значительной степени, как об этом можно судить по автобио-

ографическим данным, из личных воспоминаний, а отчасти — и переживаний самого Достоевского.

V.

Ставрогин и Тихон в „Бесах“ — только момент в развитии глубокой и великой идеи, лежащей в основе творчества Достоевского в его философском синтезе. Она выражается в искании путей такого решения религиозной проблемы, которая давала бы в итоге исканий нравственный смысл бытию и приводила ищущего к Богу, к гармонии с самим собой и миром. „Житие великого грешника“ должно было раскрыть сложную цепь противоречий, сомнений, падений и подъемов, в конце которой становилась бы ясной та великая и простая, как все великие истины, мысль, что опора истинного жизнепонимания не во внешнем мире, но внутри ищущего „я“. В герое „жития“ борются два настроения. Одно с детства развивается в нем от сознания своего превосходства над людьми. „Его поражает, что все эти окружающие его люди (большие) совершенно верят в свою чепуху, и гораздо глупее и ничтожнее, чем кажутся снаружи“. Он презирает и издевается над ними. Но Тихон незаметно прививает ему другой взгляд. „Ясные рассказы Тихона о жизни, о земной радости. О семье, отце, матери, братьях. Чрезвычайно наивные, а потому трогательные, рассказы Тихона о своих прегрешениях против домашних, относительно гордости, тщеславия „насмешек“. „Так бы все переделал это теперь“, — говорит Тихон.

После монастыря и бесед с Тихоном юноша сначала решает, как было им прежде задумано, сделаться величайшим из людей, и он проявляет необыкновенную надменность и гордость. Но влияние Тихона постепенно приводит его к убеждению, что для того, чтобы победить весь мир, надо победить только себя. И, как мы знаем, он становится смиренным, кротким и милостивым — именно потому, что уже безмерно выше всех“. Идеал только показан в плане романа, но не изображен в его действительном достижении.

Человекобожеская идея Достоевского достигла своего торжества в образе Тихона. И великий грешник может стать, как Тихон, человеком праведной и святой жизни, если он внутренним опытом дойдет до признания необходимости покорять не мир, но себя и преодолеть вну-

три себя то, что мешало ему в нем самом постигать жизнь в „земной радости“ и чистоте. Эта идея, воплощенная в Тихоне, была венцом идеальнейших стремлений самого Достоевского. „Я ничего не создам, — писал он Майкову (25 марта 1870 г.), — а только выставлю действительного Тихона, которого, я принял в свое сердце давно с восторгом“. Принял, поклонился, но не дошел до него, — но не дошел до него, — так можно было бы формулировать последний доступный нашему проникновению фазис действительного достижения Достоевского. Принял — и признал, что есть святость и праведность на земле, что есть пути избавления от муки внутренней и борьбы, и есть покой душевный и радость бытия на высоте совершенства.

VI.

Ставрогин в „Бесах“ умирает, захваченный „бесами“ и не покаявшийся, не спасенный тем старцем, вера которого была еще не совершенна. Но „Житие“ открывает дальнейшую и последнюю ступень развития той же борьбы за идеал совершенной жизни и тех же исканий. Ставрогин, перевоплотившийся в героя „Жития“, не гибнет: старец, уже победивший свои сомнения, уже святой и праведный, прививает его душе семена истинного богопознания и облегчает преодоление самого себя. И чем глубже уясняется родственная связь обоих старцев и обоих героев греха и гордости и в „Бесах“ и „Житии“, тем яснее и осязательнее отражаются в них элементы душевной борьбы самого Достоевского. Автобиографический характер многих страниц и глав, написанных Достоевским, прежде подозревался только и был совершенно неуловим для научного исследования — теперь о нем можно говорить с большой степенью определенности. Быть может, недалеко то время, когда исследователь ответит на тот величайшей важности вопрос, насколько Достоевский сам преодолел в себе „великого грешника“ и насколько приблизился он сам к идеалу того жизнепонимания, которое он сам признавал единственно истинным. Для решения этого вопроса новооткрытые материалы, на которых мы остановились в нашей статье, имеют громадное — не только художественно-психологическое, но и историческое значение.

Евг. Ляцкий.